

Максим Горький

Хозяин



Максим Горький

Хозяин

OCR Busya

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=308552

М. Горький. Собрание сочинений в 25-и томах, том 14: Наука; Москва; 1971

Аннотация

В повести «Хозяин» показана среда пекарей – этих полупролетариев, связанных с деревней и вечных кандидатов в босяки, – но уже не в романтическом ореоле поэмы первого периода, а в свете жизненной правды. В ней изумительно сочетание подлинного лика жизни с лирической настроенностью писателя. Перед нами люди несчастные, слабые, неспособные к борьбе. Но взором проникновенной любви смотрит художник на их темную жизнь.

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

42

Максим Горький

Хозяин

Страница автобиографии

...Играл ветер-поземок, вздымая сухой серый снег, по двору метались клочья сена, ленты мочала, среди двора стоял круглый, пухлый человек в длинной – до пят – холщовой татарской рубахе и в глубоких резиновых галошах на босую ногу. Сложив руки на вздутом животе, он быстро вертел короткие большие пальцы, – один вокруг другого, – щупал меня маленькими разноцветными глазами, – правый – зеленый, а левый – серый, – и высоким голосом говорил:

– Ступай, ступай – нет работы! Какая зимой работа?

Его опухшее безбородое лицо презрительно надулось; на тонкой губе шевелились редкие белесые усы, нижняя губа брезгливо отвисла, обнажив плотный ряд мелких зубов. Злой ноябрьский ветер, налетая на него, трепал жидкие волосы большелобой головы, поднимал до колен рубаху, открывая ноги, толстые и гладкие, как бутылки, обросшие желтоватым пухом, и показывал, что на этом человеке нет штанов. Он возбуждал острое любопытство своим безобразием и еще чем-то, что обидно играло в его живом зеленом глазу, – торопиться мне некуда было, захотелось поболтать с ним, я спросил:

– Ты – дворник, что ли?

– Иди, знай, это не твое дело...

– Простудишься ты, брат, без штанов-то...

Красные пятна на месте бровей всползли вверх, разрозненные глаза странно забежали, человек – точно падая – покачнулся вперед:

– Еще что скажешь?

– Простудишься – умрешь.

– Ну?

– Больше ничего.

– Чего больше! – глуховато сказал он, перестав крутить пальцами. Рознял руки и, любовно погладив жирные бока, спросил, надвигаясь на меня:

– Ты зачем это говоришь?

– Так... А нельзя мне повидать самого хозяина Василия Семенова?

Вздохнув и внимательно присматриваясь ко мне зеленым оком, человек сказал:

– Это я самый и есть...

Мои надежды на работу рухнули. Ветер сразу стал холодной, а человек еще более неприятен.

– Что?! – воскликнул он, усмехаясь. – Вот те и дворник!

Теперь, когда он стоял почти вплоть ко мне, я видел, что он в тяжком похмелье. Красные бугры над глазами его поросли едва заметным желтым пухом, и весь он странно напоминал огромного, уродливого цыпленка.

– Айда прочь! – сказал он веселым голосом, дохнув на меня густою струей перегара и размахивая короткой ручкой, – эта рука со сжатым кулаком тоже напоминала шампанскую бутылку с пробкой в горле. Я повернулся спиной к нему и не торопясь пошел к воротам.

– Эй! Три целковых в месяц – хошь?

Я был здоров, мне семнадцать лет, я грамотен и – работать на этого жирного пьяницу за гривенник в день! Но – зима не шутит, делать было нечего; скрепя сердце я сказал:

– Ладно.

– Пачпорт есть?

Я сунул руку за пазуху, но хозяин отмахнулся брезгливым жестом:

– Не надо! Приказчику отдай. Иди вон туда... Сашку спроси...

Войдя в открытую, висевшую на одной петле дверь щелевой пристройки, расслабленно прильнувшей к желтой, облупленной стене двухэтажного дома, я направился между мешками муки в тесный угол, откуда на меня плыл кислотный, теплый, сытный пар, но – вдруг на дворе раздались страшные звуки: что-то зашлепало, зафыркало. Прильнув лицом к щели в стене сеней, я обомлел в удивлении: хозяин, прижав локти к бокам, мелкими прыжками бегал по двору, точно его, как лошадь, кто-то гонял на невидимой корде. Сверкали голые икры, толстые, круглые колени, трясся живот и дряблые щеки; округлив свой сомовый рот, человек

вытянул губы трубою и пыхтел:

– Фух, фух...

Двор был тесный; всюду, наваливаясь друг на друга, торчали вкривь и вкось ветхие службы, на дверях висели – как собачьи головы – большие замки; с выгоревшего на солнце, вымытого дождями дерева десятками мертвых глаз смотрели сучки. Один угол двора был до крыш завален бочками из-под сахара, из их круглых пастей торчала солома – двор был точно яма, куда сбросили обломки отжившего, разрушенного.

Кружится солома, мочало, катаются колесики стружек, и в кругу хлама, как бы играя с ним, грузно прыгал, шлепая галошами по мелкому булыжнику, толстый странный человек, – прыгал, хлябая сырым, жирным телом, и фыркал:

– Фух, фух, фух...

Откуда-то из угла ему отзывались свиньи сердитым визгом и хрюканьем, где-то вздыхала и топала лошадь, а из форточки окна во втором этаже дома грустно истекал девичий голос, распевая:

Что ты, суженец, не весел,
Беззаботный сорванец?¹

Ветер, заглядывая в жерла бочек, шуршит соломой; то-

¹ Из песни «Суженец» (см. «Сборник либретто для пластинок зонофон». Вильна, 1910, стр. 238).

ропливо барабанит какая-то щепка, на коньке крыши амбара зябко жмутся друг к другу сизые голуби и жалобно воркуют...

Всё – живет странной, запутанной жизнью, а в центре всего носится, потея и хрипя, необычный, невиданный мною человек.

«Это куда же я втравился?» – жутко подумалось мне.

В подвале с маленькими окнами, закрытыми снаружи частой проволочной сеткой, под сводчатым потолком стоит облако пара, смешанное с дымом махорки. Сумрачно, стекла окон побиты, замазаны тестом, снаружи обрызганы грязью. В углах, как старое тряпье, висят клочья паутины, покрытые мучной пылью, и даже черный квадрат какой-то иконы весь оброс серыми пленками.

В огромной печи с низким сводом жарко пылает золотой огонь, а перед ним чертом извивается, шаркая длинной лопатой, пекарь Пашка Цыган, душа и голова мастерской, – человек маленький, черноволосый, с раздвоенной бородкой и ослепительно белыми зубами. В кумачной, без пояса, рубашке, с голой грудью, красиво поросшей узором курчавых волос, он, поджарый и вертлявый, напоминает трактирного танцора, и жалко видеть на его стройных ногах тяжелые, точно из чугуна литые опорки. От него по подвалу разбегаются бодрые, звонкие крики.

– Жарь да вари! – смахивая ладонью пот с красивого лба

в черных кудрях, кричит он и матерно ругается.

У стены, под окнами, за длинным столом сидят, мерно и однообразно покачиваясь, восемнадцать человек рабочих, делая маленькие крендели в форме буквы «в» по шестидцати штук на фунт; на одном конце стола двое режут серое, упругое тесто на длинные полосы, привычными пальцами щиплют его на равномерные куски и разбрасывают вдоль стола под руки мастеров, – быстрота движений этих рук почти неуловима. Рассучив кусок теста, связав его кренделем, каждый пристукивает фигуру ладонью, – в мастерской непрерывно звучат мягкие шлепки. Стоя у другого конца стола, я укладываю готовые крендели на лубки, мальчишки берут у меня полный лубок и бегут к варщику, он сбрасывает сырое тесто в кипящий котел, через минуту вычерпывает их оттуда медным ковшом в длинное медное же и луженое корыто, снова укладывает на лубки скользкие, жгучие кусочки теста, пекарь сушит их, ставя на шесток, складывает на лопату, ловко швыряет в печь, а оттуда они являются уже румяными, – готовы!

Если я не успею вовремя разложить все подбросанные ко мне крендели – они тотчас слежятся, слепятся, работа испорчена, и люди за столом, ругая меня, швыряют в лицо мне шматки теста.

Ко мне все относятся недружелюбно, подозрительно, точно ожидая чего-то дурного от меня.

Восемнадцать носов сонно и уныло качаются над сто-

лом, лица людей мало отличны одно от другого, на всех лежит одинаковое выражение сердитой усталости. Тяжко бухает железный рычаг мялки, – мой сменщик мнет тесто. Это очень тяжелая работа – вымесить семипудовую массу так, чтоб она стала крутой и упругой, подобно резине, и чтоб в ней не было ни одного катышка сухой, непромешанной муки. А сделать это нужно быстро, самое большое – в полчаса.

Потрескивают дрова в печи, бурлит вода в котле, шаркают и шлепают руки по столу – все сливается в непрерывный, однотонный звук, редкие сердитые возгласы людей не оживляют его. Только на полу среди мальчиков-низальщиков ясно звучит тонкий, свежий голосок одиннадцатилетнего Яшки Артюхова, человека курного и шепелявого; все время он, то хмурясь и делая страшное лицо, то смеясь, возбужденно рассказывает какие-то невероятные истории о попадье, которая из ревности облила свою дочь-невесту керосином и зажгла ее, о том, как ловят и бьют конокрадов, о домовых и колдунах, ведьмах и русалках. За этот неугомонно звенящий голос мальчика прозвали Бубенцом.

Я уже знаю, что Василий Семенов еще недавно – шесть лет тому назад – был тоже рабочим, пекарем, сошелся с женою своего хозяина, старухой, научил ее извести пьяницу-мужа мышьяком и забрал все дело его в свои руки, а ее – бьет и до того запугал, что она готова, как мышь, жить под полом, лишь бы не попадаться на глаза ему. Мне рассказали эту историю просто, как очень обычное, – даже зависти к удачнику

я не уловил в рассказе.

– Почему это он у вас без штанов гуляет?

Кривой старик Кузин с темным и злым лицом объяснил внушительно:

– Похмелье выхаживает, у него только третьеводни запой миновал.

– А он не полуумный?

Несколько пар глаз взглянуло на меня насмешливо и саркастично, а Цыган многообещающе вскричал:

– погоди, он те развернет мозги!

Все – от шестидесятилетнего Кузина до Яшки, который нанизывает крендели на мочало за два рубля от покрывала до пасхи,² – все говорят о хозяине с чувством, почти близким к хвастовству: вот-де какой человек Василий Семенов, найдик-ка другого такого же! Он развратник, у него три любовницы, двух он сам мучает, а третья – его бьет. Он – жаден, харчи дает скверные, только по праздникам щи с солониной, а в будни – тресуха; в среду и пятницу – горох да просяная каша с конопляным маслом. А работы требует семь мешков каждый день, – в тесте это сорок девять пудов, и на обработку мешка уходит два с половиной часа.

– Удивительно говорите вы о нем, – сказал я.

Пекарь, сверкая белками умных глаз, спросил:

– Чего – удивительно?

– Словно хвалитесь...

² с 1 (14) октября до апреля – мая.

– Есть чем хвалиться! Ты раскуси: был он простой рабочий человечешко, а теперь перед ним квартальный шапку ломит! Он вон грамоты вовсе не знает – кроме счета – а держит дело на сорок человек – все в уме!

Кузин, благочестиво вздохнув, подтвердил:

– Разума дал ему Христос достаточно.

А Пашка, разгораясь, кричит:

– Крендельная, хлебопекарня, булочная, сушечная – оборотись-ка с этим без записи! Одного кренделя мордве да татарам в уезды за зиму он продает боле пяти тысяч пуд, да семеро разносчиков в городе обязаны им каждый день продать по два пуда кренделей и сушек первого сорта – видал?

Воодушевление пекаря было непонятно мне и раздражало меня – я уже имел достаточно оснований думать и говорить о хозяевах иначе.

А старый Кузин, прикрыв вороватый глаз седой бровью, как будто дразнит:

– Это, братец ты мой, не прост человек!

– Видно – не прост, коли вы сами говорите, что он хозяина отравил...

Пекарь, нахмурия черные брови, неохотно проговорил:

– Свидетелей этому нет. Бывает, что со зла да по зависти про человека говорят – убил, отравил, ограбил, – не любят, когда нашему брату удача приходит...

– Какой же он тебе брат?

Цыган не ответил, а Кузин, взглянув в угол, сердито ска-

зал мальчикам:

– Дьяволята, – вам бы освободить образ-то божий от грязи! Экая татарва...

Все остальные молчат, точно их нет на земле...

Когда наступала моя очередь укладывать крендели, – стоя у стола я рассказывал ребятам все, что знал и что – на мой взгляд – они тоже должны были знать. Чтобы заглушить ворчливый шум работы, нужно было говорить громко, а когда меня слушали хорошо, я, увлекаясь, повышал голос и, будучи застигнут хозяином в такой момент «подъема духа», получил от него прозвище и наказание.

Он бесшумно явился за спиною у меня в каменной арке, отделявшей мастерскую от хлебопекарни; пол хлебопекарни был на три ступеньки выше пола нашей мастерской, – хозяин встал в арке, точно в раме, сложив руки на животе, крутя пальцами, одетый – как всегда – в длинную рубаху, завязанную тесьмой на жирной шее, тяжелый и неуклюжий, точно куль муки.

Стоял и с высоты смотрел на всех разными глазами, причем зеленый зрачок, правильно круглый, играл и сокращался, точно у кота, а серый – овальный – смотрел неподвижно и тускло, как у мертвого.

Я продолжал говорить до поры, пока не заметил, что все звуки в мастерской стали тише, хотя работа пошла быстрее, и в то же время за плечом у меня раздался насмешливый

голос:

– Про што грохаешь, Грохало?

Я обернулся и сконфуженно замолчал, а он прошел мимо меня, смерив фигуру мою острым взглядом зеленого глаза, и спросил пекаря:

– Как работает?

Павел одобрил:

– Ничего! Здоров...

Не торопясь, точно мяч, хозяин перекатился наискось мастерской и, поднявшись на ступени к двери в сени, сказал Цыгану лениво, тихо:

– Поставь его тесто набивать – без смены неделю...

И скрылся за дверью, впустив в мастерскую белое облако холода.

– Здо-орово! – протянул Ванок Уланов, хилый, колченогий парень с наглым лицом, поразительно бесстыдный в словах и движениях.

Кто-то насмешливо свистнул, – пекарь окинул всех сердитым взглядом:

– Шевели руками! – и матерно выругался.

С пола из угла, где сидели мальчики, раздался сердитый, укоряющий голос Яшки:

– Сто з вы, челти, – с клаю стола котолые? Толкнули бы человека, когда видите – хозяин идет...

– Да-а, – сипло протянул его брат Артем, парень лет шестнадцати, взъерошенный, точно петух после драки, – это не

шуточка – неделю без смены тесто набивать, – косточки-то взноют!

С краю стола сидел старик Кузин и солдат Милов, добродушный мужик, зараженный сифилисом; Кузин, спрятав глаз, промолчал, а солдат виновато проговорил:

– Не догадался я...

Пекарь, ухмыляясь до ушей, сказал:

– Теперь имя тебе – Грохало!

Человека три неохотно засмеялись, и наступило неловкое, тягостное молчание. На меня старались не смотреть.

– А Яшка всегда первый правду чувствует, – неожиданно воскликнул густым басом Осип Шатунов, кособокий мужик с калмыцким лицом и невидными глазами. – Не жилец он на земле, Яшка этот.

– Посол к чолту! – крикнул мальчик звонко и весело.

– Язык ему надо отрезать, – предложил Кузин; Артем сердито крикнул ему:

– Тебе, ябеда, надо язык с корнем выдрать!

– Цыц! – раздалось от печки.

Артем встал и не торопясь пошел в сени, – маленький брат строго говорит:

– Куда посол босиком, чолт? Надень ополки, – плостудиса – подохнес!

Все, видимо, привыкли к этим замечаниям, все молчат. Артем смотрит на брата ласково разбегающимися глазами и – надевает опорки, подмигивая ему.

Мне грустно, чувство одиночества и отчужденности от этих людей скипается в груди тяжким комом. В грязные окна бьется выюга – холодно на улице! Я уже видал таких людей, как эти, и немного понимаю их, – знаю я, что почти каждый переживает мучительный и неизбежный перелом души: родилась она и тихо выросла в деревне, а теперь город сотнями маленьких молоточков ковал на свой лад эту мягкую, податливую душу, расширяя и суживая ее.

Особенно ясно чувствовалась жестокая и безжалостная работа города, когда безглагольные люди начинали петь свои деревенские песни, влагая в их слова и звуки немотные недомумения и боли свои.

Разнесча-астная девица-а,³

– неожиданно запевал Уланов высоким, почти женским голосом, – тотчас же кто-нибудь как бы невольно продолжал:

Выступала ночью в поле...

Медленно пропетое слово «поле» будило еще двоих-троих; наклонив головы пониже, спрятав лица, они вспоминали:

³ Возможно, вариант песни «Карие глазки», героиня которой также идет со своим горем в поле, но обращается не к ветру, а к «зверям лютым»: «Растерзайте тело бело, / Выньте сердце из меня, – / Отнесите мое сердце / К другу милу моему!» (сб. «Маруся отравилась». Одесса, (год издания не указан), стр. 10).

В поле светел месяц светит,
В поле веет тихий ветерок...

Раньше, чем они допоют последнюю строчку, Ванок рыдающим звуком продолжает:

Разнесчастливая девица-а...

Дружней и громче разыгрывается песня:

Ветру речи говорила:
– Ветер тихий, друг сердечный,
Вынь ты сердце-душу из меня!

Поют, и – в мастерской как будто веет свежий ветер широкого поля; думается о чем-то хорошем, что делает людей ласковее и краше душою. И вдруг кто-нибудь, точно устыдясь печали ласковых слов, пробормочет:

– Ага, шкуреха, заплакала...

Покраснев от напряжения, Уланов еще выше и грустней зачинает:

Разнесчастливая девица-а...

Задушевные голоса поют убийственно тоскливо:

Ветер жалостно просила:
– Отнеси ты мое сердце

Во дремучие, во темные леса!..

– А сама, небойсь, – и песню разрывают похабные, грязно догадливые слова. В запахи поля вторгается гнилой запах темного подвала, тесного двора.

– Э-эх, мать честная! – вздохнет кто-нибудь.

Ванок и лучшие голоса все более напрягаются, как бы желая погасить синие огни гниения, чадные слова, а люди все больше стыдятся повести о любовной тоске, – они знают, что любовь в городе продается по цене от гривенника, они покупают ее, болеют и гниют от нее, – у них уже твердо сложилось иное отношение к ней.

Разнесчастливая девица!

Эх, никто меня не любит...

– Не кобенься, – полюбят хоть десятеро...

Ты зарой-ка мое сердце

Под коренья, под осенние листья.

– Им бы, подлым, все замуж, да мужику на шею...

– Само собой...

Хорошие песни Уланов поет, крепко зажмурив глаза, и в эти минуты его бесстыдное, измятое, старческое лицо покрывается какими-то милыми морщинками, светит застенчивой улыбкой.

Но циничные выкрики все чаще брызгают на песню, точно грязь улицы на праздничное платье, и Ванок чувствует себя побежденным. Вот он открыл мутные глаза, наглая улыбка кривит изношенные щеки, что-то злое дрожит на тонких губах. Ему необходимо сохранить за собою славу хорошего запевалы, – этой славой он – лентяй, человек не любимый товарищами – держится в мастерской.

Встряхнув угловатой головою в рыжих, редких волосах, он взвизгивает:

Ка-ак на улице Проломной⁴
Да – там лежит студент огромный...

Со свистом, воем, с каким-то особенным сладостным цинизмом, как будто испытывая мстительное наслаждение петь гнусные слова, – вся мастерская дружно гремит:

Лежит – усмехается...

Точно стадо свиней ворвалось в красивый сад и топчет цветы. Уланов противен и страшен: бешено возбужденный, он весь горит, серое лицо в красных пятнах, глаза выкатились, тело развратно извивается в бесстыдных движениях, и

⁴ Возможно, что это «нецензурная» переделка песни «Касьян-именинник»: Как на улице Варваринской / Спит Касьян мужик камаринский... («Песни матушки Волги». СПб., 1899, стр. 90). *Проломная улица* – в Казани, Варваринская (Варварка) – в Москве.

невероятно высокий голос его приобрел какую-то силу, рожущую сердце яростной тоскою:

Идут девки, идут дамы,

– выводит он, размахивая руками, и все так же возбужденно орут:

Прямо... о-ох, ты!..

Прямо!

Прямо...

Бурно кипит грязь, сочная, жирная, липкая, и в ней валятся человечьи души, – стонут, почти рыдают. Видеть это безумие так мучительно, что хочется с разбегу удариться головой о стену. Но вместо этого, закрыв глаза, сам начинаешь петь похабную песню, да еще громче других, – до смерти жалко человека, и ведь не всегда приятно чувствовать себя лучше других.

Порою бесшумно является хозяин или вбегает рыжий, кудрявый приказчик Сашка.

– Веселитесь, ребятки? – слащаво-ядовитым голоском спрашивал Семенов, а Сашка просто кричал:

– Тише, сволочь!

И все тотчас гасло, а от быстроты, с которой эти люди подчинялись властному окрику, – на душе становилось еще темнее, еще тяжелее.

Однажды я спросил:

– Братцы, зачем вы портите хорошие песни?

Уланов взглянул на меня с удивлением:

– Али мы плохо поем?

А Осип Шатунов сказал своим низким, всегда как бы равнодушным голосом:

– Песня – ей ничего нельзя сделать плохого, чем бы ее испортить. Она – как душа, мы все пометим, а песня останется... Навсегда!

Говоря, Осип опускал глаза, точно монашенка, сборщица на монастырь, а когда он молчал, его широкие калмыцкие скулы почти непрерывно шевелились, как будто этот тяжелый человек всегда лениво жует что-то...

Я устроил из лучины нечто вроде пюпитра и, когда – отбив тесто – становился к столу укладывать крендели, ставил этот пюпитр перед собою, раскладывал на нем книжку и так – читал. Руки мои не могли ни на минуту оторваться от работы, и обязанность перевертывать страницы лежала на Милове, – он исполнял это благоговейно, каждый раз неестественно напрягаясь и жирно смачивая палец слюною. Он же должен был предупреждать меня пинком ноги в ногу о выходе хозяина из своей комнаты в хлебопекарню.

Но солдат был порядочный ротозей, и однажды, когда я читал «Сказку о трех братьях» Толстого,⁵ за плечом у ме-

⁵ «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях».

ня раздалось лошадиное фыркание Семенова, протянулась его маленькая, пухлая рука, схватила книжку, и – не успел я опомниться – как он, помахивая ею, пошел к печи, говоря на ходу:

– Чего придумал, а? Ловок...

Я настиг его, схватил за руку:

– Жечь книгу – нельзя!

– Как так?

– Так. Нельзя!

В мастерской стало очень тихо. Я видел нахмуренное лицо пекаря, его белые, оскаленные зубы, и ждал, что он крикнет: «Бей!»

Зеленело в глазах, и тряслись ноги. Ребята работали во всю силу, как будто торопясь окончить одно и приняться за другое дело.

– Нельзя? – спокойно переспросил хозяин, не глядя меня, склонив голову набок и точно прислушиваясь чему-то.

– Дайте-ка сюда.

– Ну... на!

Я взял измятую книжку, выпустил руку хозяина и отошел на свое место, а он, наклоня голову, прошел, как всегда, молча на двор. В мастерской долго молчали, потом пекарь резким движением отер пот с лица и, топнув ногою, сказал:

– Ух, даже сердце захолонуло, ну вас к черту! Так ждал – сейчас схлестнется он с тобой...

– И я, – радостно подтвердил Милов.

– Мо-огла быть драка! – с сожалением воскликнул Цыган. – Ну, теперь, Грохало, держись. Начнет он тебя покорять – ух ты!

Кузин ворчал, покачивая седой головой:

– Не ко двору ты нам, парень! Скандалы нам не надобны. Разбередишь хозяина ты один, а он на нас станет сердце сры-
вать, – да!

Артюшка пониженным голосом ругал солдата:

– Растяпа! Что ж ты – не видал?

– Стало быть, не видал.

– А тебе не наказывали – гляди?!

– А я вот не доглядел...

Большинство равнодушно молчало, слушая сердитую воркотню. Я не мог понять, как относятся ко мне эти люди, чувствовал себя нехорошо и думал, что, пожалуй, лучше мне уйти отсюда. И, как будто поняв мои думы, Цыган сердито заговорил:

– Ты, Грохало, бери-ка расчет, – все равно теперь тебе житья не будет! Натравит он на тебя Егорку, и – кончено дело!

Но тут с пола встал Яшка, сидевший на рогоже, скрестив ноги, как портной, – встал, выпучил живот и, покачиваясь на кривых ногах рахитика, очень страшно выкатив молочно-синие глаза, крикнул, подняв кулачок:

– Сасем уходить? Дай ему в молду! А будет длаться – я заступлюсь!

Секунда молчания, и – все захохотали тем освежающим,

здоровым смехом, который, точно летний ливень, смывает с души человека грязь, пыль и всякие наросты, обнажая доброе и ясное, сталкивает людей в тесную массу одиночувствующих, в одно целостное, человеческое тело.

Бросив работать, все качались, хватаясь за бока, выли, взвизгивали и, задыхаясь смехом, обливались слезами, а Яшка – тоже сконфуженно посмеиваясь – одергивал рубаху:

– А – сто? Вот ессе!.. Я возьму гилю в тли фунта, а то – полено...

Первый кончил смеяться Шатунов, вытер лицо ладонью и, ни на кого не глядя, заговорил:

– Опять Яшка верно говорит, младенец! Зря пугаете человека. Он – добро рассказывает, а вы ему – уходи...

– Упредить надо же! – сказал Пашка, отдыхая от смеха. – Али мы – собаки?

И все дружно заговорили о том, как бы предохранить меня от Егора:

– Ему – что убить человека, что изувечить, – все едино – просто!

Больше всех старался Артюшка, быстро создавая различные нелепые планы обороны и наступления, а старый Кузин, воткнув глаз в угол, ворчал сердито:

– Который раз говорю я вам, мальчишки, – почистили бы образ-то божий...

Цыган, шаркая лопатой, убеждал как бы сам себя:

– Надо быть готовым ко всякому греху... У нас озорство

– нипочем товар...

Мимо окон по двору кто-то прошел, тяжело топая ногами, – всезнающий Яшка оживленно сказал:

– Егол идет волота затволять, – свиней глядеть будут...

Кто-то пробормотал:

– Не уморили его в больнице...

Стало тихо и скучно. Через минуту пекарь предложил мне:

– Хошь Семеновский парад поглядеть?

...Я стою в сенях и, сквозь щель, смотрю во двор: среди двора на ящике сидит, оголив ноги, мой хозяин, у него в подоле рубахи десятка два булок. Четыре огромных йоркширских борова, хрюкая, трутся около него, тычут мордами в колени ему, – он сует булки в красные пасти, хлопает свиней по жирным розовым бокам и отечески ласково ворчит пониженным, незнакомым мне голосом:

– У-у, кушать хочется зверям, булочки звери хотят? На, на, на...

Его толстое лицо расплылось в мягкой, полусонной улыбке, серый глаз ожил, смотрит благожелательно, и весь он какой-то новый. За ним стоит широкоплечий мужик, рябой, с большими усами, обритой досиня бородою и серебряной серьгой в левом ухе. Сдвинув набекрень шапку, он круглыми, точно пуговицы, оловянными глазами смотрит, как свиньи толкают хозяина, и руки его, засунутые в карманы под-

девки, шевелятся там, тихонько встряхивая полы.

– Продавать пора, – сипло сказал он, – его тупое, как обух топора, лицо не дрогнуло.

– Успею, – недовольно и громко отозвался хозяин. – Когда еще таких наживу.

Боров ткнул его рылом в бок – Семенов покачнулся на ящике и сладостно захохотал, встряхивая рыхлое тело и сморщив лицо так, что его разные глаза утонули в толстых складках кожи.

– Отшельнички-шельмочки! – взвизгивал он сквозь смех. – В темноте... во тьме живут, а – вот они – чхо, чхо! Во-от они – а! Затворнички, угоднички мои-и...

Свиньи отвратительно похожи одна на другую, – на дворе мечется один и тот же зверь, четырежды повторенный с насмешливой, оскорбляющей точностью. Малоголовые, на коротких ногах, почти касаясь земли голыми животами, они наскакивают на человека, сердито взмахивая седыми ресницами маленьких ненужных глаз, – смотрю на них, и точно кошмар давит меня.

Подвизгивая, хрюкая и чавкая, йоркширы суют тупые, жадные морды в колени хозяина, трутся о его ноги, бока, – он, тоже взвизгивая, отпихивает их одною рукой, а в другой у него булка, и он дразнит ею боровов, то – поднося ее близко к пастьям, то – отнимая, и трясется в ласковом смехе, почти совершенно похожий на них, но еще более жуткий, противный и – любопытный.

Лениво приподняв голову, Егор долго смотрит в небо, по-зимнему тусклое и холодное, как его глаза; над плечом его тихо качается высветленная серьга.

– Сиделка в больнице, – неестественно громко заговорил он, – сказывала мне секретно, будто светупредставления не буде...

Пытаясь схватить борова за ухо, Семенов переспросил:

– Не будет?

– Нет.

– Врет, поди, дура...

– Может, и врет.

Хозяин все ласкает набалованных, чистых и гладких сви-ней, но движения рук его становятся ленивее – он, видимо, устал.

– Грудастая такая баба, пучеглазая, – вздохнув, вспоминает Егор.

– Сиделка?

– Ну, да! Свету, говорит, представления не надо ждать, а солнце – затмится в августе месяце совсем...⁶

Семенов снова и недоверчиво переспрашивает:

– Ну? Совсем?

– Совсем. Только-де – это ненадолго, просто – тень пройдет.

– Откуда – тень?

⁶ 7 августа 1887 г. в средней полосе России наблюдалось полное солнечное затмение (см. очерк «На затмении» В. Г. Короленко).

– Не знаю. От бога, верно...

Встав на ноги, хозяин строго и решительно сказал:

– Дура! Противу солнца тени быть не может, оно всякую тень прободает. Раз! А бог – утверждается – светлый, – какая от него тень? Два! Кроме того – в небе везде пустота одна, – откуда в пустоте тень появится? Три. Дура она неповитая...

– Конечно, как баба...

– То-то и есть... Загоняй-ко ребятишек в хлевушок...

– Позову, кого-нибудь из тех.

– Позови. Да – гляди – не били бы зверей, а коли кто решится – бей его сам в мою голову...

– Знаю...

Хозяин идет по двору, йоркширы катятся вслед за ним, как поросята за маткой...

На другой день рано утром хозяин широко распахнул дверь из сеней в мастерскую, встал на пороге и сказал с ядовитой сладостью:

– Господин Грохало, подь-ка перетаскай мучку со двора в сенцы...

В дверь белыми клубами врывается холод, окутывая варщика Никиту, – оглянувшись на хозяина, Никита попросил:

– Притвори дверь-то, Василий Семеныч, дует больно мне...

– Что-о? Дует? – взвизгнул Семенов и, ткнув его в затылок маленьким тугим кулачком, исчез, оставив дверь откры-

той. Никите было около тридцати лет, но он казался подростком – маленький, пугливый, с желтым лицом в кустиках бесцветных волос, с большими, всегда широко открытыми глазами, в которых замерло выражение неизбывной боли и страха. Шесть лет – с пяти часов утра и до восьми вечера – торчит он у котла, непрерывно купая руки в кипятке, правый бок ему палило огнем, а за спиной у него – дверь на двор, и несколько сот раз в день его обдавало холодом. Пальцы у него были искривлены ревматизмом, легкие воспалены, а на ногах натянулись синие узлы вен.

Надев на голову пустой мешок, я пошел на двор, и когда поравнялся с Никитой – он сказал мне тихонько, сквозь зубы:

– Это все из-за тебя, черти бы те взяли...

Из больших его глаз лились мутные, как пот, слезы.

Я вышел на двор, убито думая:

«Надо уходить отсюда...»

Хозяин в женской лисьей шубке стоял около мешков муки, их было сотни полторы, даже треть не убралась бы в тесные сени. Я сказал ему это, – он издевательски усмехнулся, отвечая:

– Не уберется – назад перетаскать заставлю... Ничего, ты здоров...

Сдернув мешок с головы, я заявил Семенову, что не позволю ему издеваться надо мной и пусть он даст мне расчет.

– Таскай, таскай, знай! – снова усмехнувшись, сказал он. –

Куда пойдешь зимой-то? С голоду подохнешь...

– Расчет!

Его серый глаз налился кровью, зеленый злобно забегал, он сжал кулак и, сунув им в воздух, спросил всхлипнувшим голосом:

– А в рожу – хочешь?

Меня взорвало. Отбив его протянутую руку, я схватил его за ухо и стал молча трепать, а он толкал меня левой рукой в грудь и негромко, удивленно вскрикивал:

– Постой! Что ты? Хозяина-то? Пусти, черт...

Потом, то взвешивая на левой руке отшибленную правую, то потирая красное ухо и глядя мне в лицо остановившимися, нелепо вытаращенными глазами, он стал бормотать:

– Хозяина? Ты? Ты – кто такой, а? Да я... я – полицию вскричу! Я тебя...

И вдруг, обиженно сложив губы трубочкой, он протяжно, уныло свистнул и пошел прочь, моргая правым глазом.

Мое бешенство сгорело, точно солома, – было смешно смотреть, как он тихонько катится в угол и под короткой шубенкой вздрагивает, точно обиженный, его жирный зад.

Стало холодно, а в мастерскую идти не хотелось, и, чтоб согреться, я решил носить мешки в сени, но, вбежав туда с первым же мешком, увидел Шатунова: он сидел на корточках перед щелью в стене, похожий на филина. Его прямые волосы были перевязаны лентой мочала, концы ее опустились на лоб и шевелятся вместе с бровями.

– Видел я, как ты его, – тихонько заговорил он, тяжело двигая лошадиными челюстями.

– Ну, – так что?

Монгольские глазки, расширившись, смотрели непонятным взглядом, смущая меня.

– Слушай! – сказал он, встав и подходя ко мне вплоть. – Я про это никому не скажу, и ты – не говори никому...

– Я и не собираюсь.

– То-то! Все-таки хозяин! Верно?

– Ну?

– Надо кого-нибудь слушать, а то – передеремся все!

Он говорил внушительно и очень тихо, почти шепотом:

– Надобно, чтобы уважение было...

Не понимая его, я рассердился:

– Поди-ка ты к черту...

Шатунов схватил меня за руку, безобидно говоря таинственным шепотом:

– Егорки – не бойся! Ты какой-нибудь заговор против страха ночного знаешь? Егорка ночному страху предан, он смерти боится. У него на душе грех велик лежит... Я иду раз ночью мимо конюшни, а он стоит на коленках – воет: «Пресвятая матушка владычица Варвара, спаси нечаянные смерти»,⁷ – понимаешь?

⁷ «Пресвятая матушка владычица Варвара, спаси нечаянные смерти» – молитва, обращенная к Варваре Великомученице; считалось, что она спасает от пожаров, кораблекрушений и от всякой неожиданной опасности.

– Ничего не понимаю!

– Вот этим ты на него и надави!

– Чем?

– Страхом. А на силу свою не полагайся, он те впятеро сильнее...

Чувствуя, что этот человек искренно желает мне добра, я сказал ему спасибо, протянул руку. Он дал свою не сразу, а когда я пожал его твердую ладонь, он чмокнул сожалительно и, опустив глаза, что-то невнятно промычал.

– Ты – что?

– Все равно уж, – сказал он, отмахнувшись от меня, и ушел в мастерскую, а я стал носить мешки, раздумывая о случившемся.

Я кое-что читал о русском народе, о его артельности, социальности, о мягкой, широкой, отзывчивой на добро его душе, но гораздо больше я знал народ непосредственно, с десяти лет живя за свой страх, вне внушений семьи и школы. Большею частью мои личные впечатления как будто хорошо сливались с прочитанным: да, люди любят добро, ценят его, мечтают о нем и всегда ждут, что вот оно явится откуда-то и обласкает, осветит суровую, темную жизнь.

Но мне все чаще думалось, что, любя доброе, как дети сказку, удивляясь его красоте и редкости, ожидая как праздника, – почти все люди не верят в его силу и редкие заботятся о том, чтоб оберечь и охранить его рост. Все какие-то невспаханные души: густо и обильно поросли они сорной

травую, а занесет случайно ветер пшеничное зерно – росток его хиреет, пропадает.

Шатунов сильно заинтересовал меня, – в нем почудилось мне что-то необычное...

С неделю хозяин не показывался в мастерскую и расчета мне не давал, а я не настаивал на нем, – идти было некуда, а здесь жизнь становилась с каждым днем все интереснее.

Шатунов явно сторонился от меня, попытки разговориться с ним «по душе» не имели успеха, – на мои вопросы он – потупив глаза, двигая скулами – отвечал что-то непонятное:

– Конечно, если бы знать верные слова! Однако же у каждого – своя душа...

Было в нем что-то густо-темное, отшельничье: говорил он вообще мало, не ругался по-матерному, но и не молился, ложась спать или вставая, а только, садясь за стол обедать или ужинать, молча осенял крестом широкую грудь. В свободные минуты он незаметно удалялся куда-нибудь в угол, где потемнее, и там или чинил свою одежду или, сняв рубаху, бил – на ощупь – паразитов в ней. И всегда тихонько мурлыкал низким басом, почти октавой, какие-то странные, неслыханные мною песни:

Ой – да что-й-то мне сегодня белый свет не по душе...⁸

⁸ Ср. текст песни «Ай, да мне не спится, не лежится» («Великорусские народные песни», изданы А. И. Соболевским, т. IV СПб., 1898, стр. 540).

Шутливо спросишь его:

– Сегодня только? А вчера по душе был?

Не ответив, не взглянув – он тянет:

Выпил бы я браги, да – не хочется...

– Да и нет ее, про тебя, браги-то...

Точно глухой – он и бровью не поведет, продолжая уныло:

К милой бы пошел, – к милой ноги не ведут,

Ой, ноги не ведут, да и сердце не зовет...

Пашка Цыган не любит скучных песен.

– Эй, волк! – сердито кричит он, оскалив зубы. – Опять завыл?

А из темного угла ползут одно за другим панихидные слова:

Душенька моя не гораздо болит,

Ой, не гораздо болит – ночью спать не велит...

– Ванок! – командует пекарь. – Гаси его, чего чадит? Валай «Козла»!

Поют похабную плясовую песню, и Шатунов умело, но равнодушно пускает густые, охающие ноты, – они как-то особенно ловко ложатся под все слова и звуки крикливо развратной песни, а порою она вся тонет в голосе Шатунова,

пропадая, как бойкий ручей в темной стоячей воде илистого пруда.

Пекарь и Артюшка относятся ко мне заметно лучше, – это новое отношение неуловимо словами, но я хорошо чувствую его. А Яшка Бубенчик, в первую же ночь после моего столкновения с хозяином, притащил в угол, где я спал, мешок, набитый соломой, и объявил:

– Ну, я лядом с тобой тепель буду!

– Ладно.

– Давай – подлужимся!

– Давай!

Он тотчас подкатился под бок ко мне и секретно зашептал:

– Мысы талаканов не едят?

– Нет, а что?

– Так я и знал!

И всё так же тихо, но очень торопливо ворочая толстым языком, он стал рассказывать, поблескивая милыми глазами:

– Знаес, – видел я, как одна мыша с талаканом лазговаливала, – убей глом – видел! Плоснулся ночью лаз, – а на свету месяца, неподалечку от меня, она сталается около кленделя – глызет и глызет, а я лезу тихонечко. Тут подполз талакан и еще два, а она – пелестала да усишками седыми шевелит, и они тоже водят усами, – вот как немой Никандла, – так и говорят... узнать бы – про что они? Чай – интелесно? Спишь?

– Нет! Говори, пожалуйста...

– Она, будто, сплешивает талаканов: «Вы отколь?» – «Мы – делевенские»... ведь они из делевень в голод напоззают, опосля пожалов... они еще до пожала из избы бегут, они уж знают, когда пожалу быть. Дед-домовик скажет им: «Беги, лебятя», они и – айда! Ты домовика – видал?

– Нет еще...

– А я – вида-ал...

Но тут он неожиданно всхрапнул, точно задохнувшись, и – замолк до утра Бубенчик!

Хозяин почти каждый день стал приходиться в мастерскую, словно нарочно выбирая то время, когда я что-нибудь рассказывал или читал. Входя бесшумно, он усаживался под окном, в углу слева от меня, на ящик с гирями, и, если я, заметив его, останавливался, – он с угрюмой насмешливостью говорил:

– Болтай, болтай, профессор, ничего не будет, мели, знай!

И долго сидел, молча раздувая щеки так, что под жидкими волосами шевелились его маленькие уши, плотно прилаженные к черепу, какие-то невидные. Порою он спрашивал жабьим звуком:

– Как, как?

А однажды, когда я излагал строение вселенной, он визгливо крикнул:

– Стой! А где – бог?

– Тут же...

– Врешь! Где?

– Библию знаете?

– Ты мне зубов не заговаривай – где?

– «Земля же бе невидима и неустроена и тьма верху бездны и дух божий ношашеся верху воды...»⁹

– Во-оды! – торжествуя, крикнул он. – А ты внушаешь – огонь был! Вот я еще спрошу попа, так ли это написано...

Встал и, уходя, добавил угрюмо:

– Больно ты, Грохало, много знаешь, гляди – хорошо ли это будет тебе!..

Качая головою, Пашка озабоченно сказал:

– Поставит он тебе капкан!

Два дня спустя после этого в мастерскую вбежал Сашка и строго крикнул мне:

– К хозяину!

Бубенчик поднял вверх курносое, обрызганное веснушками лицо и серьезно посоветовал:

– Возьми гилю фунта в тли!

Я ушел под тихий смех мастерской.

В тесной комнате полуподвального этажа, за столом у садовара сидели, кроме моего, еще двое хозяев-крендельщиков – Донов и Кувшинов. Я встал у двери; мой ласково-ехидным голосом приказал:

– А ну-ка, профессор Грохалейший, Расскажи-ка ты нам насчет звезд и солнышка, и как все это случилось.

⁹ Цитата из Библии (Первая книга Моисеева, гл. 1, стих 2).

Лицо у него было красное, серый глаз прищурен, а зеленый пылал веселым изумрудом. Рядом с ним лоснились, улыбаясь, еще две рожи, одна – багровая, в рыжей щетине, другая – темная и как бы поросшая плесенью. Лениво пыхтел самовар, осеняя паром странные головы. У стены, на широкой двуспальной кровати сидела серая, как летучая мышь, старуха-хозяйка, упираясь руками в измятую постель, отвесив нижнюю губу; покачивалась и громко икала. В углу забыто дрожал, точно озябший, розовый огонек лампы; в простенке между окон висела олеография: по пояс голая баба с жирным, как сама она, котом на руках. В комнате стоял тяжелый запах водки, соленых грибов, копченой рыбы, а мимо окон, точно огромные ножницы, молча стригущие что-то, мелькали ноги прохожих.

Я подвинулся вперед, – хозяин, схватив со стола вилку, привстал и, постукивая ею о край стола, сказал мне:

– Нет, ты стой там... Стой и рассказывай, а после я тебя угощу...

Я решил, что тоже угощу его потом, и начал рассказывать. На земле жилось нелегко, и поэтому я очень любил небо. Бывало, летом, ночами, я уходил в поле, ложился на землю вверх лицом, и казалось мне, что от каждой звезды до меня – до сердца моего – спускается золотой луч, связанный множеством их со вселенной, я плаваю вместе с землей между звезд, как между струн огромной арфы, а тихий шум ночной жизни земли пел для меня песню о великом счастье жить.

Эти благотворные часы слияния души с миром чудесно очищали сердце от злых впечатлений будничного бытия.

И здесь, в этой грязненькой комнате, пред лицом трех хозяев и пьяной бабы, бессмысленно вытаращившей на меня мертвые глаза, я тоже увлекся, забыв обо всем, что оскорбительно окружало меня. Я видел, что две рожи обидно ухмыляются, а мой хозяин, сложив губы трубочкой, тихонько посвистывает и зеленый глаз его бегаёт по лицу моему с каким-то особенным, острым вниманием; слышал, как Донов сипло и устало сказал:

– Ну и звонит, дьявол!

А Кувшинов сердито воскликнул:

– Чумовой он, что ли?

Но мне это не мешало: мне хотелось заставить их слушать мой рассказ и казалось, что они уже поддаются моим словам...

Вдруг хозяин, не шевелясь, выговорил медленно, тоненьким голосом и в нос:

– Ну, – будет, Грохало! Спасибо, брат! Очень все хорошо. Теперича, расставив звезды по своим местам, поди-ка ты покорми свинок, свинушечек моих...

Теперь об этом смешно вспоминать, но в тот час мне было невесело, и я не помню, как победил бешенство, охватившее меня.

Помню, что, когда я вбежал в мастерскую, Шатунов и Артюшка схватили меня, вывели в сени и там отпаивали водой.

Яшка Бубенчик убедительно говорил:

– Сто-о? Ага-а, не послушал меня?

А Цыган, нахмуренный и сердитый, ворчал, похлопывая меня по спине:

– Охота связываться... Ежели у него селезенка разыгралась, – ему сам архиерей нипочем...

Кормление свиней считалось обидным и тяжелым наказанием: йоркширы помещались в темном, тесном хлеве, и когда человек вносил к ним ведра корма, они подкатывались под ноги ему, толкали его тупыми мордами, редко кто выдерживал эти тяжелые любезности, не падая в грязь хлева.

Войдя в хлев, нужно было тотчас же прислониться спиной к стене его, разогнать зверей пинками и, быстро вылив пойло в корыто, скорее уходить, потому что рассерженные ударами свиньи кусались. Но было гораздо хуже, когда Егорка, отворив дверь в мастерскую, возглашал загробным голосом:

– Эй, кацапы, гайда свиней загонять!

Это значило, что выпущенные на двор животные разыгрались и не хотят идти в хлев. Вздыхая и ругаясь, на двор выбегало человек пять рабочих, и начиналась – к великому наслаждению хозяина – веселая охота; сначала люди относились к этой дикой гоньбе с удовольствием, видя в ней развлечение, но скоро уже задыхались со зла и усталости; упрямые свиньи, катаясь по двору, как бочки, то и дело опрокидывали людей, а хозяин смотрел и, впадая в охотничье воз-

буждение, подпрыгивал, топал ногами, свистел и визжал:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.